# Сарразин

# Оноре де Бальзак

Я был погружен в глубокую задумчивость, как это случается подчас со всяким, даже самым легкомысленным человеком, в разгар шумного празднества. Часы дворца Бурбонов только что пробили полночь. Сидя в проеме окна и скрытый волнистыми складками муаровой портьеры, я без помехи мог созерцать сад особняка, где проводил этот вечер. Неясные силуэты деревьев, наполовину засыпанных снегом, смутно выступали на сероватом фоне облачного неба, слабо освещенного луной. В этой призрачной обстановке они отдаленно напоминали приведения, полузакутанные в свои саваны, — гигантское воспроизведение знаменитой «Пляски мертвецов». Обернувшись в противоположную сторону, я мог любоваться пляской живых существ! Роскошный зал, украшенный по стенам серебром и золотом, сверкающие люстры, горящие огнем бесчисленных свечей. Здесь толпились, двигались, порхали, словно бабочки, самые красивые женщины Парижа, самые богатые и знатные, самые блестящие и нарядные, ослепляющие взор игрой своих драгоценностей. Цветы на голове, на груди, в волосах; цветы, рассыпанные по ткани платья или гирляндой извивающиеся вдоль подола. Легкий трепет, мягкие сладострастные движения, заставляющие обвиваться вокруг стройных тел кружева, блонды, газ и шелк. Изредка то там, то здесь чей-нибудь искристый взгляд на мгновение спорил с огнями люстр и блеском алмазов, разжигая и без того пламенеющие сердца. Можно было кое-где уловить многозначительный кивок любовнику и досадливую гримаску по адресу мужа. Звон золота и восклицания партнеров при каждом неожиданном повороте игры сливались со звуками музыки и рокотом разговоров. Волна ароматов и винные пары окончательно одурманивали и болезненно разжигали воображение этой толпы, опьяненной и пресыщенной всеми наслаждениями жизни. Таким образом, справа от меня была мрачная и безмолвная картина смерти, слева — едва сдерживаемое в рамках приличия вакхическое веселье. Тут — природа, холодная, печальная и словно облаченная в траур, там — люди, опьяненные радостью жизни. Находясь как бы на грани, отделяющей друг от друга эти две столь различные картины, повторение которых в бесконечном разнообразии делает Париж самым веселым и в то же время самым философским городом в мире, я был во власти смешанных, словно винегрет, чувств и мыслей, то радостных, то мрачных. Левой ногой я отбивал такт музыки, а правой, казалось, стоял в гробу. И в самом деле, правая нога моя застыла от холодного сквозного ветра, обдававшего одну половину моего тела, в то время как другая согревалась влажным теплом танцевального зала — неприятное явление, так часто имеющее место на балу.

— Господин де Ланти приобрел этот особняк недавно?

— Нет, уже довольно давно. Скоро десять лет, как маршал де Карильяно продал ему его.

— Неужели?

— У этих людей, должно быть, огромное состояние?

— По-видимому, да.

— Какой бал! Он роскошен до дерзости.

— Думаете ли вы, что они так богаты, как господа де Нюсинжен или де Гондревиль?

— Да разве вы не знаете?

Высунув голову, я увидел обоих собеседников и сразу же определил их принадлежность к любопытной парижской породе, поглощенной вопросами: «Почему?», «Как?», «Откуда он появился?», «Кто они такие?», «Что здесь происходит?», «Что она сделала?». Они понизили голос и удалились — очевидно, с целью отыскать где-нибудь укромный диванчик, где можно было бы продолжать беседовать без помехи.

Вряд ли когда-нибудь для любителей чужих тайн открывалось более богатое поле деятельности. Никто не знал, откуда взялась семья де Ланти, что послужило источником ее огромного, оцениваемого в несколько миллионов состояния — торговля ли, грабеж или пиратство, или богатое наследство. Все члены семьи говорили по-итальянски, по-французски, по-испански, по-английски, по-немецки с совершенством, дающим возможность предположить, что они подолгу жили среди всех этих народов. Были ли они цыгане? Или потомки морских пиратов?

— А хотя бы и самого дьявола! — говорили молодые политиканы. — Приемы у них прекрасные.

— Если бы я даже знал, что граф де Ланти разграбил дворец какого-нибудь африканского бея, я и то женился бы на его дочери! — восклицал какой-то великосветский философ.

Да и кто в самом деле не пожелал бы жениться на шестнадцатилетней Марианине, красота которой казалась живым воплощением фантазии восточных поэтов. Подобно дочери султана в сказке о Лампе Аладина, ей следовало бы скрывать свое лицо под покрывалом. Ее пение затмевало несовершенный талант таких знаменитостей, как Малибран, Зонтаг или Фодор, у которых какое-нибудь одно выдающееся качество всегда нарушало совершенство целого. Марианина же умела соединить в своем пении доведенные до одинакового совершенства чистоту звука, изумительную чуткость, чувство ритма и интонации, задушевность и технику, строгую выдержанность и проникновенность. Эта девушка была олицетворением тайной поэзии, связующей воедино все искусства и неуловимой для тех, кто ее ищет. Мягкая и скромная, образованная и остроумная, Марианина затмевала всех, за исключением разве только своей матери.

Приходилось ли вам когда-либо встречать женщин, победоносная красота которых не вянет под влиянием протекающих лет и которые в тридцать шесть лет еще более привлекательны, чем они были пятнадцатью годами раньше? Их лицо отражает пламенную душу и словно пронизано светом; каждая черта его светится умом, каждый уголок кожи обладает каким-то трепетным блеском, особенно при свете вечерних огней. Глаза их, полные обаяния, притягивают и отталкивают, говорят или замыкаются в молчании; их походка полна непосредственности и утонченного искусства; в их голосе звучит неиссякаемое богатство интонаций, кокетливо нежных и мягких. Их похвалы способны игрой сопоставлений польстить самому болезненному самолюбию. Движение их бровей, малейшая искорка, вспыхнувшая в глазах, легкая дрожь, скользнувшая по губам, внушают нечто вроде священного ужаса тем, кто ставит в зависимость от них свою жизнь и счастье. Неопытная в любви и поддающаяся впечатлению красноречивых слов девушка легко может стать жертвой соблазнителя, но, имея дело с такими женщинами, мужчина должен, подобно господину де Жокуру, уметь подавить крик боли, когда горничная, пряча его в уборной, ломает ему, прищемив дверью, два пальца. Любить этих властных сирен, не значит ли это ставить на карту свою жизнь? И должно быть именно поэтому мы так страстно их любим! Такова была графиня де Ланти.

Филиппо, брат Марианины, так же, как и его сестра, унаследовал ослепительную красоту своей матери. Говоря короче, этот юноша был живым воплощением Антиноя, только более хрупкого телосложения. Но как гармонично сочетаются с юношеской незрелостью эти худощавые и изящные формы, когда смуглая кожа, густые брови и огонь, горящий в бархатистых глазах, являются залогом мужественных страстей и благородных увлечений в будущем! Если для молодых девушек Филиппо был олицетворением идеала мужчины, то их мамаши также не забывали о нем, считая его одной из наиболее выгодных партий во Франции.

Красота, богатство, ум и привлекательность этих двух детей перешли к ним исключительно от матери. Граф де Ланти был мал ростом и безобразен, с лицом, изрытым оспой; мрачный, как испанец, и скучный, как банкир. Впрочем, его считали глубоким политиком, возможно потому, что он редко смеялся и постоянно цитировал Меттерниха и Веллингтона.

Эта таинственная семья была столь же притягательна, как поэма Байрона, неясности которой по-разному толковались каждым членом высшего общества: возвышенные и темные песнопения, выливающиеся в строфу за строфой. Скрытность, проявляемая супругами де Ланти относительно их происхождения, их прошлого и связей в четырех странах света, не должна была бы сама по себе долго вызывать удивление в Париже. Ни в одной, пожалуй, другой стране не восприняли в такой мере, как во Франции, аксиому Веспасиана. Здесь золотые монеты, даже испачканные кровью и грязью, ни в чем не уличают и все собою представляют. Лишь бы только высшему обществу был известен размер вашего состояния, и вас сразу же зачислят в разряд тех, чье богатство равно вашему; и никто не потребует у вас грамот о дворянском происхождении, ибо все знают, как дешево они стоят. В городе, где социальные проблемы разрешаются при помощи алгебраических уравнений, у авантюристов есть прекрасные шансы на успех. Даже если предположить, что эта семья вела свой род от цыган, она была так богата и блистала таким обаянием, что высшее общество имело все основания отнестись снисходительно к ее маленьким тайнам. Но, к несчастью, атмосфера загадочности, окружавшая семью де Ланти подобно романам Анны Радклиф, давала все новую пищу любопытству.

Наблюдательные люди, то есть люди, интересующиеся тем, в каком именно магазине вы купили ваши канделябры, и справляющиеся у вас о том, сколько вы платите за квартиру, если эта квартира им нравится, заметили, что на празднествах, концертах, балах и раутах, устраиваемых графиней, время от времени появляется какая-то странная личность. Это был мужчина. Впервые он появился среди гостей, наполнявших дом де Ланти, во время концерта. Казалось, его привлекло сюда доносившееся из зала чарующее пение Марианины.

— Мне как-то вдруг стало холодно, — сказала, обращаясь к своей соседке, дама, сидевшая недалеко от дверей.

Незнакомец, стоявший около дамы, удалился.

— Как странно! — воскликнула дама после его ухода. — Мне стало жарко. Вы, может быть, сочтете меня сумасшедшей, но я не могу отделаться от мысли, что холод шел от этого господина в черном, который только что стоял здесь.

Вскоре страсть к преувеличениям, свойственная людям высшего света, породила и собрала вокруг таинственной личности незнакомца самые забавные загадки, самые нелепые определения и самые смехотворные домыслы. Если он не был вампиром, злым духом, пожирающим тела погребенных, искусственным человеком, подобием Фауста или Волшебного стрелка, то, во всяком случае, он, по словам любителей всего сверхъестественного, обладал свойствами всех этих человекоподобных существ. Попадались время от времени немцы, принимавшие всерьез все эти изысканные насмешки, в которых выливалось злословие парижан. Между тем незнакомец был просто-напросто *стариком.* Кое-кто из молодых людей, имеющих обыкновение каждое утро несколькими изящными фразами разрешать судьбы Европы, видели в незнакомце какого-то великого преступника, обладателя несметных богатств. Романисты описывали жизнь этого старика, приводя удивительнейшие подробности о зверствах, якобы совершенных им во время службы у принца Майсорского. Банкиры, как люди более положительные, считали правдоподобной иную басню.

— Ясно, — говорили они, со снисходительным видом пожимая толстыми плечами, — этот старичок — просто «генуэзская голова»!

— Не откажите, сударь, в любезности, если мой вопрос не покажется вам нескромным, объяснить, что вы подразумеваете под «генуэзской головой»?

— Это человек, получающий огромную пожизненную ренту; от его здоровья и жизни зависят, должно быть, доходы всей этой семьи. Я помню, что однажды у мадам д'Эпар слышал, как какой-то магнетизер утверждал, будто этот старик, при внимательном исследовании всех исторических данных, оказывается, если поместить его под стекло, не кем иным как знаменитым Бальзамо, или, иначе говоря, Калиостро. По словам этого современного алхимика, сицилийский авантюрист, избежав смерти, забавляется тем, что выделывает золото для своих внуков. Судья в Феретте, говорят, в лице этого странного незнакомца опознал графа де Сен-Жермен.

Все эти глупости, произнесенные лукавым и насмешливым тоном, таким характерным в наши дни для общества, лишенного всяких твердых верований, поддерживали смутные подозрения насчет семьи де Ланти. Да и сами члены этой семьи, благодаря какому-то странному стечению обстоятельств, давали пищу всем этим разговорам в свете уже одним тем, что окружали какой-то таинственностью свое отношение к старику, жизнь которого тщательно укрывали от всякого расследования.

Появление незнакомца за пределами комнат, отведенных ему в особняке де Ланти, всякий раз вызывало у членов семьи большое волнение, точно это было бог весть какое важное событие. Только Филиппо, Марианина, госпожа де Ланти и один старый слуга пользовались привилегией помогать незнакомцу ходить, вставать, садиться. Каждый из них внимательно следил за малейшим его движением. Казалось, что это — волшебник, от которого зависят счастье, жизнь или благополучие всей семьи. Руководствовались ли они страхом или привязанностью? Члены высшего общества не могли найти никаких указаний, которые помогли бы им разрешить этот вопрос. Этот таинственный дух дома де Ланти, иногда по целым месяцам скрывавшийся в глубине какого-то неведомого святилища, как бы украдкой и неожиданно для всех появлялся в парадных гостиных, подобно старинным волшебницам, которые, сойдя со своих крылатых драконов, являлись, чтобы омрачить празднества, на которые их забыли пригласить. Только самым тонким наблюдателям удавалось в таких случаях уловить беспокойство хозяев, с необычайным искусством скрывавших свои чувства. Случалось, что наиболее непосредственная из всех, Марианина, в разгаре кадрили бросала на старика, за которым неустанно следила в толпе, взгляд, полный ужаса, или Филиппо, быстро скользя сквозь толпу, направлялся к нему и оставался подле него, внимательный и нежный, оберегая его так, как будто малейшее прикосновение или дуновение грозило разбить это странное существо.

Графиня старалась подойти к нему всегда словно нечаянно; все ее движения и лицо в таких случаях выражали одновременно нежность и подобострастие, покорность и властную требовательность, она произносила несколько слов, и старик почти всегда подчинялся ее желанию: давал увести или, вернее, унести себя из бального зала. В отсутствие госпожи де Ланти граф пускался на всевозможные ухищрения, чтобы приблизиться к нему; но старик, по-видимому, неохотно слушался его, и граф обращался с ним, как с избалованным ребенком, все капризы которого мать удовлетворяет, страшась неожиданной вспышки. Нашлись смельчаки, достаточно нескромные и безрассудно легкомысленные, чтобы попытаться расспросить графа де Ланти, но этот холодный и сдержанный человек сделал вид, что не понимает вопросов. Таким образом, после многочисленных попыток, разбившихся о непоколебимую осторожность всех членов семьи, никто уже не старался проникнуть в эту так тщательно охраняемую тайну. Великосветские шпионы, бездельники и политики, утомленные борьбой, сложили оружие и перестали искать ключ к этой загадке.

Тем не менее и сейчас в этих блестящих залах несомненно находились философы, которые, глотая мороженое и щербет или ставя на столик допитый стакан пунша, говорили:

— Я не удивился бы, узнав, что эти люди мошенники. Старик, постоянно где-то скрывающийся и появляющийся только в дни равноденствия и солнцестояния, весьма и весьма похож на убийцу...

— Или банкрота...

— Это почти одно и то же. Разорить человека иногда хуже, чем убить его!

— Господа, я поставил двадцать луидоров, — мне следует, значит, сорок!

— Возможно, сударь, но на столе их всего тридцать!

— Вот видите, какое здесь смешанное общество! Здесь нельзя даже играть...

— Вы правы... Но кстати, вот уже месяцев шесть, как мы не видели Духа. Как вы думаете, это живое существо?

— Э-э!.. Кто знает...

Эти последние слова были произнесены около меня какими-то незнакомыми мне людьми, которые ушли как раз в тот момент, когда я подводил итог мыслям, в которых сплелись свет и тьма, жизнь и смерть. В моем воспаленном воображении, так же как и перед моими глазами, являлись то празднество в самом разгаре его великолепия, то мрачная картина сада. Не знаю, сколько времени я провел в размышлениях об этих двух сторонах медали, олицетворяющих человеческую жизнь, но меня внезапно привел в себя приглушенный женский смех. Я на мгновение застыл, пораженный картиной, представившейся моим глазам. По какому-то странному капризу природы раздвоенная мысль, только что шевелившаяся в моем мозгу, вышла из него и стояла передо мной; она появилась из моей головы, как Минерва из головы Юпитера, великая и могучая, воплощенная в живых человеческих формах. Ей одновременно было и сто лет, и двадцать два года, она была и мертвой, и живой. Выбравшись из своей комнаты, как безумец из своей палаты, старичок ловко проскользнул за спиной гостей, увлеченных пением Марианины, как раз заканчивавшей каватину из «Танкреда». Казалось, он при помощи какого-то театрального механизма был поднят на поверхность прямо из-под земли. В течение нескольких минут, мрачный и неподвижный, он приглядывался к праздничной толпе, шум которой, должно быть, достиг его ушей. Его внимание было с такой почти сомнамбулической напряженностью сосредоточено на вещах, что он, стоя в толпе людей, не замечал этой толпы. Внезапно он без всякой церемонии остановился около одной из самых очаровательных женщин Парижа, молодой, изящной и стройной любительницы танцев, с одним из тех лиц, свежих, как у ребенка, и таких тонких в своей розоватой белизне, что взгляд мужчины, казалось, должен был пронизывать их насквозь, подобно тому как луч солнца пронизывает прозрачное стекло. Они стояли передо мной, оба, вместе, соединенные и так тесно прижатые в толпе друг к другу, что незнакомец прикасался к газовому платью, к гирляндам цветов, к волнистым волосам и пышному поясу своей соседки.

Эту молодую женщину привел на бал госпожи де Ланти я. Она впервые была в этом доме, и поэтому я простил ей вырвавшийся у нее сдержанный смех, но все же поспешил остановить ее повелительным жестом, озадачившим ее и внушившим ей уважение к стоявшему подле нее человеку. Она села возле меня. Старик не пожелал расстаться со своей очаровательной соседкой и последовал за нею с молчаливой и беспричинной настойчивостью, свойственной глубоким старикам и делающей их похожими на маленьких детей. Чтобы усесться подле молодой дамы, ему пришлось взять складной стул. Все его движения носили отпечаток какой-то мертвенной холодности, тупой нерешительности, столь характерных для движений паралитика. Он медленно, с осторожностью опустился на стул, бормоча при этом что-то нечленораздельное. Его надтреснутый голос напоминал звук, производимый камнем при падении в колодец. Молодая женщина тревожно сжала мою руку, словно стремясь найти защиту от какой-то опасности, и вся затрепетала, когда незнакомец, на которого она смотрела не отрываясь, обратил на нее взгляд своих мутно-зеленых глаз. Эти глаза были лишены жизненного тепла и напоминали потускневший перламутр.

— Мне страшно, — прошептала она, склоняясь к моему уху.

— Вы можете говорить громко, — ответил я. — Он очень плохо слышит.

— Значит, вы его знаете?

— Да.

Она решилась тогда внимательнее присмотреться к этому существу, для которого трудно было подыскать название на человеческом языке, этой форме без субстанции, бытию без жизни или жизни, лишенной движения. Она вся была в эту минуту во власти боязливого любопытства, заставляющего женщин искать острых ощущений, любоваться прикованным к цепи тифом или огромной змеей и в то же время трепетать при мысли, что их отделяет от этих чудовищ лишь непрочная преграда. Хотя спина старичка и горбилась теперь, как спина поденщика, все же и теперь еще было видно, что когда-то он был среднего роста. Его чрезвычайная худоба, изящество его рук и ног доказывали былую стройность и пропорциональность его тела. На нем были короткие черные шелковые панталоны, болтавшиеся вокруг его тощих бедер, словно спущенный парус. Анатом, взглянув на маленькие сухие ноги, поддерживавшие это странное тело, несомненно узнал бы признаки жестокого старческого истощения. Эти ноги напоминали две скрещенные кости на могиле. Чувство глубокого ужаса за человеческое существо охватывало душу, когда, присмотревшись, вы улавливали страшные признаки разрушения, произведенного годами в этом непрочном механизме. На незнакомце был белый вышитый золотом жилет, какие носили в старину, белье его сверкало ослепительной белизной. Жабо из порыжевших от времени английских кружев, таких драгоценных, что им позавидовала бы любая королева, пышными желтоватыми сборками падало на его грудь; но на нем эти кружева производили скорее впечатление жалких отрепьев, чем украшения. Среди этих кружев, словно солнце, сверкал бриллиант неимоверной ценности. Эта старомодная роскошь, эти бесценные и безвкусные украшения с особой резкостью оттеняли лицо этого странного существа. Рама была достойна портрета. Черное лицо было заострено и изрыто во всех направлениях: подбородок ввалился, виски впали, глаза терялись в глубоких желтоватых впадинах. Выступавшие, благодаря неимоверной худобе, челюсти обрисовывали глубокие ямы на обеих щеках. Все эти выступы и впадины при искусственном освещении создавали странную игру света и теней, которые окончательно лишали это лицо какого-либо человеческого подобия. Да и годы так плотно прилепили к костям тонкую желтую кожу этого лица, что она образовала множество морщин, то кругообразных, словно складки, разбегающиеся по воде, потревоженной камнем, брошенным в нее рукой ребенка, то лучистых, как трещины на стекле, но всегда глубоких и таких уплотненных, как листки в обрезе книги. Нетрудно встретить стариков с более отталкивающей наружностью, но появившемуся перед нами призраку вид неживого искусственного существа особенно придавали щедрой рукой наложенные на его лицо-маску румяна и белила. Брови его при свете лампы отливали блеском, что превращало это лицо в мастерски написанный портрет. Хорошо еще, что похожий на голову трупа череп этой жалкой развалины был прикрыт белокурым париком, бесчисленные завитки которого свидетельствовали о необычайной претенциозности. Впрочем, чисто женское кокетство этой фантасмагорической личности отчетливо сказалось и во вдетых в его уши золотых серьгах, и в перстнях, бесценные камни которых сверкали на его костлявых пальцах, и в цепочке от часов, отливавшей тысячью огней, словно бриллиантовое ожерелье на женской шее. На посиневших губах этого японского идола застыла мертвенно-неподвижная улыбка, насмешливая и неумолимая, как улыбка мертвеца. От этой молчаливой и неподвижной, словно статуя, фигуры исходил пряный запах мускуса, как от старых платьев, которые наследники покойной герцогини вытаскивают из ящиков шкафа во время описи унаследованного имущества. Когда старик обращал свой взгляд в сторону танцующих, казалось, что его глазные яблоки, не отражающие световых лучей, поворачиваются при помощи какого-то незаметного искусственного приспособления, а когда его взгляд останавливался на чем-нибудь, человек, наблюдавший за ним, начинал в конце концов сомневаться, действительно ли этот взгляд способен перемещаться. И рядом с этими жалкими человеческими останками — молодая женщина, чья белоснежная обнаженная грудь, шея и плечи, прекрасные округлые цветущие формы, волосы, вьющиеся над алебастровым лбом, способны внушить любовь; чьи глаза не поглощают, а источают свет; женщина, полная нежной красоты и свежести, пышные локоны и ароматное дыхание которой кажутся слишком тяжелыми, слишком сильными и бурными для этого готового рассыпаться в прах человека. Ах, — это подлинно была жизнь и смерть, воплощение моей мысли, причудливая арабеска, химера, наполовину чудовищная, хотя и с женственно-прекрасным станом!

«А ведь в свете нередки браки между такими существами», — подумал я.

— От него пахнет кладбищем! — испуганно воскликнула молодая женщина, прижимаясь ко мне словно ища у меня защиты. По порывистости ее движений я мог судить о том, как сильно она испугана. — Это какой-то страшный призрак, — продолжала она. — Я не могу здесь дольше оставаться. Если я буду еще смотреть на него, мне начнет казаться, что сама смерть явилась за мной. Да живой ли он вообще?

Она протянула к незнакомцу руку с той смелостью, которую женщины черпают в силе своих желаний. Но тут же она вся покрылась холодным потом: не успела она прикоснуться к старику, как услышала крик, похожий на дребезжание трещотки. Этот скрипучий голос, если его можно назвать голосом, вырвался, казалось, из совершенно пересохшего горла. И сразу же за этим криком последовал какой-то детский кашель, судорожный и в то же время необыкновенно звонкий. Этот звук, долетев до ушей Марианины, Филиппо и госпожи де Ланти, сразу же заставил их обернуться в нашу сторону. Взгляды их засверкали молниями. Моя спутница в это мгновение рада была бы скрыться хоть на дне Сены. Схватив меня за руку, она увлекла меня в одну из маленьких гостиных. Мужчины и дамы расступались перед нами. Пройдя сквозь ряд парадных зал, мы вошли в небольшую полукруглую комнату. Молодая женщина, вся дрожа от волнения и почти не сознавая, где она находится, опустилась на диван.

— Сударыня, вы с ума сошли! — проговорил я, остановившись около нее.

— Но посудите сами, — заговорила она после некоторого раздумья, в то время как я не мог оторвать от нее восхищенного взора. — Чем же я виновата? Почему госпожа де Ланти позволяет призракам бродить по своему дому?

— Полно, — остановил я ее, — вы уподобляетесь всем этим глупцам, принимая за призрак самого обыкновенного старичка.

— Замолчите! — возразила она тоном насмешливого превосходства, который умеют принимать женщины, когда хотят показать, что они правы. — Какой прелестный будуар! — воскликнула она вдруг, оглядываясь кругом. — Голубой атлас в обивке всегда удивительно красив. Как это свежо! А какая прелестная картина! — добавила она, вставая и подходя поближе к картине, вставленной в великолепную раму.

Мы на несколько мгновений замерли в восторге перед чудесным произведением искусства, созданным чьей-то божественной кистью. Картина изображала Адониса, лежащего на львиной шкуре. Спускавшаяся с потолка посреди будуара лампа в алебастровом сосуде отбрасывала на полотно мягкий свет, позволявший нам увидеть всю красоту картины.

— Может ли существовать на самом деле такое совершенное создание? — спросила она меня, досыта с нежной и удовлетворенной улыбкой на устах налюбовавшись изысканной красотой очертаний, позой, красками, волосами, одним словом, всем. — Он слишком красив для мужчины, — добавила она, внимательно всматриваясь в картину, словно перед ней была соперница.

О, с какой остротой я в это мгновение почувствовал приступ ревности, в возможности которой меня когда-то тщетно старался убедить поэт, ревности к картинам, к гравюрам, к статуям, в которых художники, в своем вечном стремлении к идеализации, преувеличивают человеческую красоту.

— Это портрет, — сказал я. — Он принадлежит кисти Виена. Но этот великий художник никогда не видел оригинала, и ваш восторг, быть может, несколько ослабеет, когда вы узнаете, что моделью для этого тела служила статуя женщины.

— Но кто же это?

Я заколебался.

— Я хочу знать, кто это! — повторила она настойчиво.

— Мне кажется, — сказал я, — что этот... Адонис изображает... одного из родственников госпожи де Ланти.

Я с болью увидел, что она снова погрузилась в созерцание прекрасного образа. Затем она молча опустилась на диван, я подсел к ней, взял ее за руку, но она даже не заметила этого. Я был забыт из-за портрета!.. В эту минуту в тишине послышался легкий шум шагов и шорох женского платья, и мы увидели входившую в комнату Марианину, которой выражение невинности и чистоты придавало еще больше обаяния и блеска, чем красота и свежесть ее туалета. Она медленно продвигалась вперед, с материнской заботливостью и дочерней нежностью поддерживая разодетый призрак, из-за которого мы покинули концертный зал. Марианина вела его, с беспокойством оберегая каждый его неверный шаг. С трудом добрались они до небольшой двери, которая была скрыта за обивкой. Марианина тихонько постучала, и сразу же, словно по волшебству, в дверях появился высокий сухощавый человек, какое-то подобие доброго домашнего духа. Прежде, чем передать старца в руки этого таинственного стража, прелестная девушка почтительно прикоснулась губами к щеке этого ходячего трупа, и ее невинной ласке не была чужда в это мгновение та кокетливая нежность, тайна которой принадлежит лишь немногим, избранным женщинам.

— *Addio, Addio![[1]](#footnote-1)* — проговорила она с самыми прелестными переливами своего юного голоса.

Последний слог она закончила руладой, исполненной с особым совершенством, но негромко, словно она желала в поэтической форме выразить порыв своего сердца. Старик, между тем, как будто внезапно пораженный каким-то воспоминанием, остановился на пороге таинственного убежища... И в тишине, царившей в комнате, мы услышали вдруг тяжелый вздох, вырвавшийся из его груди. Он стянул с пальца самый драгоценный из перстней, украшавших его костлявые руки, и опустил его в вырез платья Марианины. Юная кокетка, засмеявшись, вынула перстень и, надев его на палец поверх перчатки, поспешно направилась в зал, откуда доносились звуки прелюдии к кадрили.

Обернувшись, она заметила нас.

— Ах, вы были здесь? — воскликнула она, краснея.

И, поглядев нам в лицо, словно спрашивая нас о чем-то, она с беззаботностью, свойственной ее возрасту, бросилась искать своего кавалера.

— Что все это значит? — спросила, обращаясь ко мне, моя молодая спутница. — Неужели это ее муж? Мне кажется, что я брежу! Где я нахожусь?

— Вы, — ответил я, — вы, такая возвышенная женщина, так хорошо умеющая понимать самые утонченные ощущения, умеющая в сердце мужчины взрастить глубокое и нежное чувство и не оскорбить его, не разбить в первый же день, вы, умеющая сочувствовать сердечным мукам и соединяющая в себе одной остроумие парижанки и страстную душу женщины Италии или Испании...

Она поняла, что слова мои полны горькой иронии, но, словно не замечая этого, перебила меня:

— Оставьте! Вы пересоздаете меня по вашему вкусу. Странная тирания! Вы хотите, чтобы я не была сама собой.

— О, я ничего не хочу! — воскликнул я, испуганный строгим выражением ее лица. — Но признайтесь, по крайней мере, что вы любите слушать рассказы о бурных страстях, порожденных в наших сердцах восхитительными женщинами юга.

— Люблю. Ну и что же?

— Ну вот, я приду к вам завтра вечером около девяти часов и раскрою перед вами тайну этого дома.

— Нет! — воскликнула она капризно. — Я хочу, чтобы вы объяснили мне ее сейчас.

— Вы еще не дали мне права, — возразил я, — подчиняться вам, когда вы говорите «я хочу»...

— Сейчас, — ответила она с кокетством, способным довести до отчаяния, — я испытываю страстное желание узнать эту тайну. Завтра я, быть может, не захочу вас слушать...

Она улыбнулась, и мы расстались: она — как всегда гордая и своенравная, а я — такой же смешной, как всегда. Она имела смелость вальсировать с молодым адъютантом, а я поочередно бесился, дулся, восхищался, сгорал от любви и ревновал.

— До завтра! — сказала она мне около двух часов ночи, покидая бал.

«Я не приду! — подумал я. — Я покину тебя! Ты в тысячу раз капризнее, взбалмошнее, чем... чем мое воображение...»

На следующий день мы сидели рядом с ней вдвоем перед горящим камином в маленькой нарядной гостиной, она — на кушетке, а я — на подушках, почти у ее ног, глядя ей в глаза. На улице было тихо. Лампа отбрасывала мягкий свет. Это был один из тех чарующих вечеров, которые не забываются, — окутанные дымкой желания мирные часы, прелесть которых впоследствии вспоминается с тоской даже тогда, когда переживаешь более яркое счастье. Что может стереть с души живые следы первых порывов любви?..

— Начинайте, — сказала она. — Я слушаю.

— Я не решаюсь начать. В рассказе немало мест, опасных для рассказчика. Если я увлекусь, — остановите меня.

— Рассказывайте!

— Слушаюсь.

— Эрнест-Жан Сарразин был единственным сыном безансонского адвоката, — начал я после небольшой паузы. — Его отец довольно честным путем приобрел капитал, приносивший от шести до восьми тысяч ливров дохода в год, что для провинции, по тогдашним понятиям, являлось огромным состоянием. Старик Сарразин не жалел средств на то, чтобы дать своему единственному сыну хорошее образование, он надеялся видеть его со временем судьей и мечтал на старости лет дожить до того, что внук Матьё Сарразина, хлебопашца в Сен-Дие, усядется в кресло с государственным гербом и будет во славу парламента дремать на его заседаниях. Но провидение не даровало старому адвокату этой радости. Молодой Сарразин, отданный с малых лет на воспитание иезуитам, проявлял необычайную порывистость характера. Детство его напоминало детство многих людей, одаренных талантом. Заниматься он желал только по-своему, часто выходил из повиновения, иногда проводил долгие часы, погруженный в какие-то смутные думы, то наблюдая за играми своих товарищей, то представляя себе героев Гомера. Предаваясь забавам, он и в них проявлял необыкновенную пылкость. Если между ним и товарищем возникала борьба, то дело редко кончалось без пролития крови. Если он оказывался более слабым, то кусался. Сарразин бывал то подвижным, то вялым, кажущаяся тупость сменялась в нем чрезмерной восприимчивостью; его странный характер внушал страх как учителям, так и товарищам. Вместо того чтобы усваивать начатки греческого языка, он набрасывал портрет преподобного отца, объяснявшего отрывок из Фукидида, рисовал карикатуры на учителя математики, префекта, слуг, воспитателя и покрывал все стены какими-то несуразными рисунками. Вместо того чтобы во время церковной службы возносить хвалы Господу, он кромсал ножом скамейку или, когда ему удавалось стащить где-нибудь кусочек дерева, вырезывал из него изображение какой-нибудь святой. Если у него под рукой не оказывалось дерева, камня или карандаша, он воплощал свой замысел в хлебном мякише. Срисовывал ли он лица святых, изображенных на стенах часовни, рисовал ли сам, всегда и всюду он оставлял после себя грубые наброски, фривольный характер которых приводил в отчаяние более молодых монахов и, как уверяли злые языки, вызывал улыбку у старых иезуитов. Наконец, если верить школьной хронике, он был исключен из школы за то, что однажды, в страстную пятницу, ожидая своей очереди в исповедальне, вырезал из полена фигуру Христа. Неверие обнаруживалось в этом изображении так явно, что должно было навлечь на молодого художника тяжкую кару. В довершение всего, у него еще хватило дерзости поместить это циничное изваяние на алтаре!

Сарразин попытался найти в Париже убежище от грозившего ему отцовского проклятия. Руководимый сильной, не признающей преград волей и следуя влечению своего таланта, он поступил учеником в мастерскую Бушардона. Целые дни проводил он в работе, а по вечерам собирал милостыню, чтобы как-нибудь существовать. Бушардон, восхищенный успехами и умом своего ученика, вскоре проник в тайну тяжелой нужды, которую терпел молодой художник. Он постарался оказать юноше поддержку и, привязавшись к нему, стал обращаться с ним как с сыном. Зато потом, когда одаренность Сарразина открылась в произведении, в котором будущий талант еще боролся с юношеской неукротимостью, великодушный Бушардон постарался помирить его с отцом. Подчиняясь авторитету знаменитого скульптора, отец Сарразина сменил гнев на милость. Весь Безансон гордился тем, что послужил колыбелью будущей знаменитости. В порыве первых восторгов скупой адвокат, самолюбие которого было чрезвычайно польщено, постарался дать сыну материальную возможность с честью появляться в свете. В течение продолжительного времени тяжелая и неустанная работа — неотъемлемая часть искусства ваятеля — сдерживала необузданный характер и буйное дарование Сарразина. Бушардон, предвидя, с какой яростной силой должны когда-нибудь вспыхнуть страсти в этой молодой душе, пожалуй, такой же могучей, как душа Микеланджело, старался подавить их порывы неустанным трудом.

Он сдерживал неукротимость своего ученика в известных границах, то запрещая ему работать и уговаривая его развлечься, когда видел, что Сарразин увлечен вихрем какого-то замысла, то поручая ему ответственную работу в такую минуту, когда тот готов был предаться праздности. Но, по отношению к этой порывистой душе, самым могучим оружием оставалась ласка, и учитель сумел подчинить ученика своему влиянию, только пробуждая в нем благодарность своей отеческой добротой.

Двадцати двух лет от роду Сарразин, волею судьбы, вышел из-под благотворного влияния, оказываемого Бушардоном на его поведение и нравы. Его исключительное дарование получило признание: он был за свою работу награжден премией, учрежденной для скульпторов маркизом де Мариньи, братом мадам де Помпадур, так много сделавшим для искусства. Дидро назвал шедевром статую, изваянную учеником Бушардона. Старый скульптор с глубокой болью отпустил в Италию юношу, которого он до сих пор, согласно своим убеждениям, держал в глубоком неведении о делах мира сего.

Сарразин в течение шести лет был сотрапезником Бушардона. Будучи таким же фанатиком своего искусства, каким впоследствии был Канова, он, в продолжение всех этих лет, вставал на рассвете и шел в мастерскую, откуда выходил только с наступлением ночи. Вся жизнь его принадлежала его музе. В театр «Французской комедии» он попадал только тогда, когда его увлекал туда учитель. У госпожи Жофрен и в большом свете, куда пытался его ввести Бушардон, он чувствовал себя столь стесненным, что предпочитал одиночество легкомысленному веселью, свойственному его эпохе. У него не было других возлюбленных, кроме Скульптуры и Клотильды, одной из знаменитостей оперного театра. Да и связь с Клотильдой длилась недолго. Сарразин был некрасив, всегда дурно одет и, по характеру своему, так свободолюбив, что не признавал никаких стеснений в своей личной жизни. Поэтому знаменитая певица, опасаясь возможной катастрофы, вернула молодого скульптора на лоно его любимого искусства. Софи Арну пустила по этому поводу остроту: она высказала, если не ошибаюсь, удивление по поводу того, что ее подруга могла перевесить статую.

В 1758 году Сарразин уехал в Италию. Во время этого путешествия его пылкое воображение под пламенным небом Италии и при соприкосновении с прекраснейшими памятниками искусства, рассеянными всюду по этой родине всех искусств, разгорелось ярким огнем. Молодой скульптор любовался статуями, фресками, картинами. Он прибыл в Рим, полный духа соревнования и стремления поставить свое имя в один ряд с именами Микеланджело и Бушардона. В течение первых дней своего пребывания в Риме Сарразин делил время между работой в мастерской и внимательным изучением творений искусства, которыми так богат этот город.

Он прожил в Риме две недели, все еще не выходя из состояния экстаза, охватывающего каждого восприимчивого человека при виде этой царицы развалин. Однажды вечером он вошел в театр «Арджентина», у входа в который толпился народ. Сарразин спросил о причине такого скопления, и люди ответили ему двумя именами:

— Замбинелла! Иомелли!

Он вошел и занял место в партере, зажатый между двумя в достаточной степени жирными *abbati*. Ho место ему все же досталось удачное — оно находилось совсем близко от сцены. 3анавес взвился. Впервые в жизни довелось скульптору услышать музыку, прелести которой ему так красноречиво превозносил Жан-Жак Руссо на вечере у барона Гольбаха. Под впечатлением божественной гармонии Иомелли все чувства молодого скульптора словно смягчились. Своеобразная томность этих итальянских голосов, искусно слитых воедино, повергла его в состояние неизъяснимого блаженства. Он онемел и замер в неподвижности, не ощущая даже близости своих соседей-аббатов. Душа его словно переселилась в уши и глаза. Ему казалось, что он впитывает звуки всеми своими порами. Внезапно раздался гром аплодисментов, способный сокрушить стены зала, — это публика приветствовала появление на сцене примадонны. Движимая кокетством, она приблизилась к авансцене и поклонилась публике с неизъяснимой грацией. Освещение, восторг толпы, иллюзия, создаваемая условиями сцены, очарование костюма, который в те времена был достаточно соблазнительным, — все это вместе еще усиливало впечатление, производимое этой женщиной. Сарразин кричал от восторга. Он был восхищен, увидев воочию идеал красоты, которого он до сих пор тщетно искал в природе, беря от одной натурщицы, подчас в остальном безобразной, очаровательную округленность ноги, у другой — очертание груди, у третьей — белые плечи, соединяя воедино шею молодой девушки, руки такой-то женщины и гладкие, словно отполированные, колени подростка, никогда под холодным небом Парижа не встречая роскошных и нежных созданий древней Греции. В Замбинелле, живой и нежной, были слиты воедино изысканные пропорции женского тела, которых он так долго жаждал и судьею которых, самым строгим и в то же время самым страстным, бывает только скульптор. Выразительный рот, глаза, говорящие о любви, ослепительная белизна кожи. Добавьте к этим чертам, способным внушить восторг художнику, все совершенства Венеры, изваянные резцом древнего грека. Скульптор не мог насытиться неподражаемым изяществом линий, соединяющих руки с торсом, изумительной округлостью шеи, гармоничным изгибом бровей, носа, совершенным овалом лица, чистотой его полных жизни очертаний и красотой густых, загнутых кверху ресниц, окаймлявших широкие, сладострастные веки. Это было нечто большее, чем женщина, — это был шедевр! В этом чудесном создании сосредоточились и обещания любви, способные внушить восторг мужчинам, и красота, могущая удовлетворить самого строгого критика.

Сарразин пожирал глазами эту статую Пигмалиона, для него сошедшую с пьедестала. Но когда Замбинелла запела, он пришел в исступление. Его охватил озноб; затем он почувствовал, что где-то в глубине его существа, в глубине того, что мы, за отсутствием другого слова, называем сердцем, загорается яркий огонь. Он не аплодировал, он молчал, чувствуя, как им постепенно овладевает безумие, что-то вроде неистовства, какое мы способны переживать лишь в том возрасте, когда страстность наших желаний таит в себе нечто страшное, инфернальное. Сарразину захотелось броситься на сцену и овладеть этой женщиной. Его силы, удесятеренные благодаря какой-то душевной подавленности, причины которой объяснить невозможно, ибо все эти явления происходят в сфере, не поддающейся человеческому наблюдению, стремились проявиться с болезненной неудержимостью. Со стороны он казался равнодушным и словно отупевшим. Слава, наука, будущность, жизнь, лавры — все сгинуло.

«Быть любимым ею — или умереть!» — такой приговор вынес Сарразин самому себе.

Он был так опьянен, что не замечал ни зрительного зала, ни публики, ни актеров. Он не слышал даже музыки. Больше того, исчезло расстояние, отделявшее его от Замбинеллы, он обладал ею, его глаза, прикованные к ней, овладевали ею. Сила, почти дьявольская, позволяла ему чувствовать дыхание, исходящее из ее уст, обонять душистый запах пудры, покрывающей ее волосы, видеть тончайшие оттенки ее лица, пересчитывать синие жилки, просвечивающие сквозь атласную кожу.

Наконец, этот голос, такой гибкий и нежный, свежий и серебристый, мягкий, как нить, которой дуновение ветерка может придать любую форму, которую он свивает, развивает и рассеивает, этот голос так бурно потрясал его душу, что из уст его не раз вырывался невольный крик, подобный крику, исторгаемому мучительным наслаждением, какое так редко способно доставить удовлетворение человеческих страстей. Вскоре он был вынужден покинуть театр. Его ноги дрожали и почти отказывались нести его. Он чувствовал себя разбитым и слабым, как нервный человек, поддавшийся порыву неудержимого гнева. Он пережил такое наслаждение или такую муку, что жизнь ушла из него, как вода из опрокинутого толчком сосуда. Он ощущал во всем теле пустоту и полный упадок сил, подобный тому, что приводит в отчаяние выздоравливающих после тяжелой болезни. Охваченный необъяснимой тоской, он уселся на ступенях какой-то церковной лестницы. Опершись спиной о колонну, он погрузился в смутное, как сон, раздумье. Страсть сразила его, словно молния. Вернувшись домой, он отдался пароксизму деятельности, обычно свидетельствующему о возникновении в нашей жизни каких-то новых правящих ею начал. Охваченный первым порывом любовной лихорадки, столь же близкой к наслаждению, как и к страданию, и стремясь обмануть терзавшие его нетерпение и желания, он принялся рисовать по памяти портрет Замбинеллы.

Его мечты как будто облачились в реальную форму. На одном из листков Замбинелла изображалась в излюбленной Рафаэлем, Джорджоне и всеми великими художниками позе, спокойная и холодная. На другом — она словно заканчивала руладу и, томно склонив голову, казалось, прислушивалась к собственному голосу. Сарразин набросал портрет своей возлюбленной во всевозможных позах: он изобразил ее без покровов, сидящей, стоящей, лежащей, целомудренной и сладострастной, воплощая, по прихоти своих карандашей, все причудливые мечты, осаждающие наше воображение, когда мы поглощены мыслями о любимой женщине. Но его обезумевшие мысли уносились далеко за пределы рисунка. Он видел Замбинеллу, говорил с ней, умолял ее, переживал тысячи лет жизни и счастья подле нее, мысленно ставя ее в самые разнообразные положения, примеряя, если можно так выразиться, будущее, которое соединит его с нею. На следующее утро он послал своего слугу снять для него ближайшую к сцене ложу на весь сезон. Затем, как все молодые люди, обладающие страстной душой, он принялся перед самим собой преувеличивать предстоящие ему на избранном пути трудности и решил на первое время удовлетворить свою страсть возможностью без помехи любоваться своей возлюбленной.

Но золотая пора любви, когда мы способны наслаждаться собственным чувством и испытывать счастье, упиваясь собственными переживаниями, для Сарразина длилась недолго. События, ворвавшиеся в его жизнь, застали его неподготовленным, когда он весь еще был под обаянием этого весеннего наваждения, наивного и сладострастного. 3а одну неделю он пережил целую жизнь: с утра он лепил, стремясь воспроизвести в глине тело Замбинеллы, невзирая на покровы, платья, корсеты и банты, которыми ее фигура была от него скрыта, а рано вечером забирался в ложу и там, улегшись на диванчике, он, словно турок, одурманенный опиумом, наслаждался счастьем, таким ярким и упоительным, какого только мог пожелать. Прежде всего он постепенно приучил себя воспринимать чрезвычайно острые ощущения, которые доставляло ему пение его возлюбленной. Затем он приучил свои глаза спокойно смотреть на нее и научился владеть собой настолько, что мог любоваться ею, не опасаясь вспышки немого безумия, охватившего его в первый раз, когда он увидел ее. Его страсть, становясь более спокойной, становилась и более глубокой. Застенчивый и нелюдимый скульптор не допускал, чтобы его одиночество, населенное образами, созданными его воображением, и окрашенное мечтами и надеждой, нарушалось его товарищами. Он любил так страстно и в то же время так наивно, что боролся с сомнениями и угрызениями совести, терзающими нас, когда мы любим впервые. Предчувствуя, что скоро ему придется начать действовать, хитрить, расспрашивать, где живет Замбинелла, узнавать, есть ли у нее мать, дядя, опекун, семья, придумывая способы встретиться с ней, он чувствовал, что сердце его при этих дерзновенных мыслях сжимается, и откладывал осуществление их на следующий день, наслаждаясь своими физическими страданиями так же, как воображаемыми радостями.

— Но послушайте, перебила меня вдруг госпожа де Рошфид. — Я пока не вижу здесь ни Марианины, ни ее старичка.

— Вы только его и видите! — воскликнул я с раздражением автора, у которого срывают эффект удачной сцены.

— В течение нескольких дней, — продолжал я после паузы, — Сарразин так аккуратно появлялся в своей ложе и взгляды его выражали такую любовь, что страсть, внушаемая ему голосом Замбинеллы, стала бы сплетней всего Парижа, если бы эта история происходила здесь, но в Италии, сударыня, каждый присутствующий на спектакле сидит там не ради других, он поглощен своими собственными впечатлениями и страстями, и это одно уже исключает возможность подсматривания друг за другом. Тем не менее безумие, охватившее молодого скульптора, не могло долго оставаться тайной для артистов театра. Однажды вечером француз заметил, что закулисами над ним смеются. Трудно сказать, на что он решился бы, если бы на сцене не появилась Замбинелла. Она бросила на Сарразина красноречивый взгляд, выражающий часто гораздо больше, чем желала бы женщина. Этот взгляд стал для молодого скульптора целым откровением. Он был любим!..

«Если это только причуда, — подумал он, уже готовый поставить в вину своей возлюбленной ее чрезмерную пылкость, — то она сама не ведает, какое подчинение угрожает ей. Эта причуда продлится, я надеюсь, так же долго, как моя жизнь!»

Но тут внимание художника привлек троекратный стук в дверь его ложи. Он открыл. В ложу с таинственным видом проскользнула старуха.

— Молодой человек, — сказала она, — если вы хотите быть счастливым, соблюдайте осторожность. Закутайтесь в плащ, опустите на глаза широкие поля вашей шляпы и будьте около десяти часов вечера на Корсо против гостиницы «Испания».

— Я буду там в назначенное время, — ответил он, кладя два луидора в морщинистую руку дуэньи.

Он выбежал из ложи, предварительно сделав знак Замбинелле, которая стыдливо опустила свои сладострастные веки, словно женщина, обрадованная тем, что ее поняли. Затем он поспешил к себе домой, чтобы выбрать наряд, способный придать ему наибольшую привлекательность.

У подъезда театра его остановил какой-то неизвестный.

— Берегись, синьор француз, — прошептал он, склонившись к уху скульптора. — Дело идет о жизни и смерти. Ее покровитель — кардинал Чиконьяра, он не любит шутить.

Если б в эту минуту дьявол раскрыл между Сарразином и его возлюбленной бездну ада, скульптор наверное перескочил бы через нее одним прыжком. Его чувства, подобно коням бессмертных богов, описанных Гомером, за эти короткие мгновения оставили за собой бесконечное пространство.

— Пусть даже смерть ожидает меня у выхода из этого дома: это заставит меня только еще более спешить! — ответил он.

— *Poverino![[2]](#footnote-2)* — воскликнул неизвестный и скрылся.

Сулить влюбленному опасность — не значит ли это доставлять ему радость? Никогда еще слуга Сарразина не видел, чтобы господин его одевался с такой тщательностью. Самая лучшая шпага, подарок Бушардона, галстук, подаренный Клотильдой, шитый золотом камзол, жилет из серебряной парчи, золотая табакерка, драгоценные часы — все было вынуто из сундуков, и Сарразин принялся наряжаться, как молодая девушка, собирающаяся пройтись перед своим первым возлюбленным. В назначенный час, опьяненный любовью и горя надеждой, Сарразин, закутавшись в плащ, поспешил к месту, указанному старухой. Она уже ждала его.

— Вы запоздали! — сказала она. — Идемте!

Она повела молодого француза по узким переулкам и остановилась, наконец, перед каким-то дворцом, с виду довольно внушительным. Старуха постучала, и перед ними раскрылась дверь. Она провела Сарразина сквозь целый лабиринт лестниц, галерей и комнат, освещенных только смутным мерцанием луны, и добралась, наконец, до двери, сквозь щели которой пробивались яркие лучи света и веселые взрывы многочисленных голосов. Сарразин был ослеплен, когда, по одному слову старухи, его допустили в это таинственное обиталище и он оказался в ярко освещенном и богато убранном зале, посредине которого возвышался накрытый стол, сгибавшийся под тяжестью святейших бутылок и соблазнительных графинов со сверкавшими, как рубин, гранями. Он увидел певцов и певиц местного театра и среди них еще нескольких очаровательных женщин. Все это общество ждало только его, чтобы приступить к кутежу. Сарразин с трудом подавил чувство досады, но сразу же овладел собой. Он надеялся найти слабо освещенную комнату, свою возлюбленную у пылающего камина, где-то поблизости скрывшегося ревнивца, любовь и смерть, признания, произнесенные шепотом, поцелуи под угрозою смерти, лица, так близко склонившиеся друг к другу, что волосы Замбинеллы касались бы его лба, пылающего от счастья и желанья.

— Да здравствует веселье! — воскликнул он. — *Signori e belle donne[[3]](#footnote-3)*, вы разрешите мне потом, в свою очередь, пригласить вас и отблагодарить за прием, который вы оказываете бедному скульптору!

Ответив затем на довольно теплые приветствия, которыми его встретило большинство присутствующих, знакомых ему только с виду, Сарразин постарался добраться до глубокого кресла, в котором полулежала Замбинелла. О, как забилось его сердце, когда он увидел крохотную ножку, обутую в одну из тех открытых туфелек, которые (позвольте, сударыня, сказать это) придавали когда-то женской ножке такое кокетливое и чувственное выражение, что перед ним вряд ли мог устоять мужчина. Белые, туго натянутые чулки с зелеными стрелками, короткие юбки и остроносые туфельки на высоких каблуках, по всей вероятности, немножко способствовали при Людовике XV деморализации Европы и духовенства того времени.

— Немножко? — переспросила маркиза. — Вы, должно быть, ничего не читали!

— Замбинелла, — продолжал я, улыбаясь, — сидела, беззастенчиво закинув ногу на ногу и шаловливо раскачивая верхнюю из них — поза герцогини, шедшая к роду ее красоты, капризной и не лишенной соблазнительной и изнеженной мягкости. Она сняла свой театральный наряд, и на ней был лиф, четко обрисовывавший ее тонкий стан, еще более выделявшийся благодаря пышным фижмам и атласной юбке с вышитыми голубыми цветами. Ее грудь, красоты которой кокетливо скрывались под кружевами, сверкала ослепительной белизной. Она была причесана приблизительно как мадам Дюбарри, и ее личико под сенью широкого чепца казалось еще более тонким и нежным. Очень шли к ней и пудреные волосы. Видеть ее такой — значило обожать ее. Она приветливо улыбнулась скульптору, и Сарразин, раздосадованный тем, что лишен возможности говорить с ней без свидетелей, вежливо уселся около нее и заговорил с нею о музыке, восхваляя ее выдающийся талант. Но голос его при этом дрожал от страха и надежды.

— Чего вы боитесь? — сказал ему Витальяни, самый знаменитый певец в труппе. — Успокойтесь! Здесь у вас нет соперников!

Произнеся эти слова, тенор безмолвно улыбнулся. Такая же улыбка, как будто отражение, мелькнула на губах у всех присутствующих, скрывая выражение лукавства, которого не должен был заметить влюбленный. Словно удар кинжалом, поразило сердце Сарразина то, что тайна его любви стала общим достоянием. Хоть и обладая известной силой воли и веря в то, что никакие обстоятельства не могут повлиять на его любовь, Сарразин все же еще ни разу не задумывался над тем, что Замбинелла была почти куртизанкой и что он не мог одновременно наслаждаться чистыми радостями, придающими такую утонченную прелесть девичьей любви, и тем безумием страсти, которым артистка заставляет платить за обладание собой. Он подумал и покорился.

Подали ужин. Сарразин и Замбинелла без стеснения уселись друг подле друга. До середины пира артисты сохраняли некоторую умеренность, и скульптор имел возможность беседовать с Замбинеллой. Он нашел, что она умна и не лишена тонкости, но поразительно невежественна, слабовольна и суеверна. Хрупкость, свойственная ее телосложению, как бы отразилась и на ее восприятии жизни. Когда Витальяни откупоривал первую бутылку шампанского, Сарразин в глазах своей соседки прочел довольно сильный испуг от хлопнувшей пробки. Невольная дрожь, потрясшая этот женственный организм, была истолкована скульптором как проявление утонченной чувствительности. Эта слабость привела француза в восхищение. В любви мужчины всегда так велика доля покровительства!

«Вы можете впредь пользоваться моей силой, как щитом!» Не лежат ли эти слова в основе каждого объяснения в любви? Сарразин, слишком страстно увлеченный, чтобы говорить прекрасной итальянке любезности, как и все влюбленные, был то серьезен, то весел, то сосредоточен. Хотя и могло показаться, что он прислушивается к разговорам присутствующих, он на самом деле не слышал ни одного произнесенного ими слова, так упивался он счастьем быть около Замбинеллы, служить ей, касаться ее руки. Он весь был поглощен тайной радостью. Несмотря на красноречивую выразительность взглядов, которыми они обменивались, скульптор был удивлен сдержанностью, проявляемой Замбинеллой по отношению к нему. Правда, вначале она первая начала слегка наступать ему на ногу и дразнить его с игривым лукавством свободной и влюбленной женщины, но затем, после того как Сарразин в разговоре упомянул о каком-то случае из его жизни, рисующем крайнюю необузданность его натуры, она вся вновь замкнулась в девическую скромность.

Когда ужин превратился в оргию, присутствующие, вдохновленные малагой и хересом, принялись петь. Они исполняли прекрасные дуэты, калабрийские песенки, испанские сегидильи, неаполитанские канцонетты. Опьянение светилось во всех глазах, оно охватило сердца, оно звучало в голосах и в музыке. Внезапно через край брызнуло чарующее веселье, какая-то безудержная сердечность и чисто итальянская жизнерадостность, о которых ничто не может дать представление людям, знающим только парижские балы, лондонские рауты и венские великосветские вечера. Шутки и слова любви скрещивались в воздухе, как пули во время битвы, и тонули во взрывах смеха, богохульствах и обращениях к Святой Деве и *al Bambino[[4]](#footnote-4)*. Кто-то уснул, улегшись на диване. Какая-то молодая девушка выслушивала признание в любви, не замечая, что проливает на скатерть вино. Одна только Замбинелла среди всего этого хаоса сидела задумчивая и словно пораженная ужасом. Она отказывалась пить, зато ела, пожалуй, даже слишком много. Но ведь говорят, что любовь вкусно поесть придает женщинам особую привлекательность!

Восхищаясь целомудрием своей возлюбленной, Сарразин мысленно строил планы будущего. «Она, должно быть, хочет, чтобы я женился на ней», — подумал он и погрузился в мечты о радостях этого брака. Всей его жизни, казалось ему, недостаточно, чтобы исчерпать счастье, источники которого таились на дне его души. Его сосед по столу, Витальяни, так часто подливал ему вина, что часам к трем ночи Сарразин, хоть и не будучи совершенно пьян, все же утратил способность бороться с охватившим его исступлением. В минуту безумного порыва он схватил сидевшую рядом с ним женщину и унес ее в маленький будуар, дверь которого, выходившая в гостиную, уже несколько раз в течение этой ночи привлекала его взор. Оказалось, что итальянка вооружена кинжалом.

— Если ты подойдешь ко мне, — воскликнула она, — я должна буду вонзить этот кинжал тебе в сердце! Я знаю, ты все равно стал бы презирать меня. Я слишком полна к тебе уважения, чтобы отдаться тебе в такой обстановке. Я не хочу оказаться недостойной твоей любви!

— Ах! — вскричал Сарразин. — Плохой способ гасить страсть, намеренно разжигая ее. Неужели ты настолько испорчена, что поступаешь как молодая, но увядшая душой куртизанка, старающаяся распалить страсть мужчины, чтобы легче извлечь из нее выгоду?

— Но ведь сегодня пятница! — ответила она, испуганная необузданностью француза.

Сарразин, не отличавшийся чрезмерной набожностью, рассмеялся. Замбинелла, вскочив словно юная лань, бегом бросилась в зал, где происходило пиршество. Сарразина, вбежавшего туда вслед за нею, встретил адский хохот. Он увидел, что Замбинелла лежит в обмороке на кушетке. Она была бледна и, казалось, обессилена перенесенным только что потрясением.

Хотя Сарразин и мало понимал по-итальянски, он все же уловил слова, шепотом сказанные его возлюбленной подошедшему к ней Витальяни:

— Да ведь он убьет меня!

Эта странная сцена смутила молодого скульптора. Он пришел в себя. Несколько минут простоял он в неподвижности. Затем, снова обретя дар речи, уселся около Замбинеллы и стал уверять ее в своем глубоком к ней уважении. Он нашел в себе достаточно сил, чтобы, сдерживая свою страсть, произносить, обращаясь к этой женщине, самые восторженные речи. Описывая ей свою любовь, он бросил к ее ногам богатство своего красноречия, этого лучшего из защитников, которому женщины редко отказываются верить.

Когда загорелись первые лучи солнца, одна из артисток предложила поехать в Фраскати. Все радостными кликами приветствовали мысль провести весь день на вилле Людовизи. Витальяни вышел, чтобы нанять экипажи. Сарразину выпало счастье везти Замбинеллу в коляске. Не успели они выехать за город, как снова вспыхнуло веселье, временно подавленное борьбой с одолевавшим всех их сном. Эти люди, мужчины и женщины, по-видимому привыкли к такому странному образу жизни, к непрерывному веселью и постоянному нервному подъему, превращающему жизнь артистов в вечный, озаренный радостной беззаботностью праздник. Спутница скульптора одна только казалась подавленной.

— Не больны ли вы? — спросил Сарразин. — Не хотите ли лучше поехать домой?

— Я недостаточно крепка, чтобы переносить все эти излишества, — ответила она. — Мне нужно беречься, но с вами мне так хорошо! Если б не вы, я ни за что не согласилась бы присутствовать на этом ужине. От бессонной ночи я совсем теряю свежесть.

— Вы такая хрупкая! — заметил Сарразин, любуясь нежными чертами этого очаровательного создания.

— Кутежи вредно отражаются на моем голосе.

— Теперь, когда вы наедине со мной и вам не нужно больше бояться бурных вспышек моей страсти, — воскликнул художник, — теперь скажите мне, что вы меня любите!

— К чему? — ответила она. — Зачем? Я показалась вам красивой. Но вы — француз, и чувство ваше быстро угаснет. О нет, вы не стали бы любить меня так, как я желала бы быть любимой!

— Скажите, как?..

— Без пошлой цели, без страсти, чисто и целомудренно. Я питаю к мужчинам отвращение, еще более, быть может, сильное, чем моя ненависть к женщинам. Я испытываю потребность в дружбе. Мир для меня пуст и безлюден. Я — существо, отмеченное проклятием, мне выпало на долю понимать, что такое счастье, чувствовать его, стремиться к нему и, как и многие другие, видеть, как оно ускользает из моих рук. Вы еще вспомните, синьор, что я не обманывала вас. Я запрещаю вам любить меня! Я могу быть преданным вам другом, потому что я восхищаюсь вашей силой и вашим характером. Мне нужен защитник и брат. Будьте им для меня, но ничем больше.

— Не любить вас! — воскликнул Сарразин. — Но, ангел мой дорогой, ты вся моя жизнь, все мое счастье!

— Мне достаточно было бы произнести одно только слово, и вы с отвращением оттолкнули бы меня.

— Кокетка! Ничто не способно испугать меня. Скажи мне, что ты будешь мне стоить всего моего будущего, что через два месяца я умру, что я буду проклят, если всего лишь поцелую тебя...

И он поцеловал ее несмотря на все усилия Замбинеллы избежать этого страстного поцелуя.

— Скажи мне, что ты демон, что тебе нужно мое состояние, мое имя, вся моя слава!.. Хочешь, я перестану быть скульптором? Говори!

— А что если я не женщина? — нежным серебристым голосом спросила Замбинелла.

— Какая забавная шутка! — воскликнул Сарразин. — Неужели ты думаешь, что могла бы обмануть глаз художника? Недаром я в течение десяти дней пожирал тебя глазами, изучал, упивался совершенством твоей красоты. Только женщина может обладать такой нежной округлостью плеч, таким изящным и тонким овалом... Ах вот что! Тебе нужны комплименты?

— Роковая красота! — прошептала Замбинелла с грустной улыбкой.

Она подняла глаза к небу. В ее взгляде в это мгновение мелькнуло выражение такого страстного, такого мучительного отчаяния, что Сарразин вздрогнул.

— Синьор француз, — заговорила она снова. — Забудьте навсегда эти мгновения безумия; я глубоко уважаю вас, но любви не просите у меня; это чувство давно заглохло в моем сердце. У меня нет сердца! — вскрикнула она, разражаясь слезами. — Сцена, на которой вы меня видели, аплодисменты, музыка, слава, к которой меня приговорили, — вот моя жизнь, и нет у меня другой! Через несколько часов вы будете смотреть на меня другими глазами. Женщина, которую вы любите, перестанет существовать...

Скульптор ничего не ответил. Он весь был во власти глухого бешенства, сжимавшего его сердце. Он мог только глядеть на эту странную женщину пылающим взглядом. Слабый голос Замбинеллы, все ее поведение, ее движения, выражавшие печаль, тоску и бессилие, пробуждали в его сердце бурные порывы страсти. Каждое ее слово только разжигало его чувство.

В эту минуту они как раз подъехали к Фраскати. Протянув руки, чтобы помочь своей возлюбленной выйти из экипажа, скульптор почувствовал, что она вся дрожит.

— Что с вами? — воскликнул он, видя, что она бледнеет. — Я готов умереть, если явился хоть невольной причиной ваших страданий!

— Змея! — прошептала она, указывая ему на ужа, скользившего вдоль края канавы. — Я боюсь этих отвратительных животных.

Сарразин ударом каблука раздавил голову ужа.

— Как у вас хватило мужества? — воскликнула Замбинелла, с видимым страхом разглядывая мертвое пресмыкающееся.

— Ну, — сказал художник, улыбаясь, — неужели вы и теперь посмеете утверждать, что вы не женщина?

Они догнали своих спутников и приняли участие в прогулке по рощам виллы Людовизи, принадлежавшей в то время кардиналу Чиконьяра. Утро, по мнению влюбленного скульптора, пронеслось слишком быстро, но оно было наполнено тысячью мелочей, указывающих на кокетство, слабость и избалованность души безвольной и лишенной энергии. Это была женщина со свойственными ей внезапными испугами, беспричинными капризами, инстинктивными порывами, неожиданной дерзостью, бравадами и чарующей утонченностью чувств. Зайдя довольно далеко, маленькая группа веселых певцов увидела вдруг вдали несколько вооруженных до зубов мужчин, вся внешность которых не внушала никакого доверия. «Разбойники!» — вскрикнул кто-то, и все, ускорив шаг, поспешили укрыться в отгороженной части парка, прилегавшей к вилле кардинала. В эту критическую минуту Сарразин, увидев бледность Замбинеллы, понял, что у нее нет сил двигаться дальше. Подняв ее на руки, он несколько времени бежал, унося ее в своих объятиях. Добравшись до ближайшего виноградника, он опустил свою возлюбленную на землю.

— Объясните мне, — сказал он ей, — почему эта чрезмерная слабость, которая во всякой другой женщине показалась бы мне отвратительной и отталкивающей и малейшего проявления которой, вероятно, было бы достаточно, чтобы убить мою любовь, в вас мне нравится, чарует меня? — О как я вас люблю! — воскликнул он. — Все ваши недостатки, ваши страхи, ваши ребячества придают вам какую-то особую прелесть. Я чувствую, что способен был бы возненавидеть сильную женщину, какую-нибудь Сафо, смелую, энергичную, полную страсти. О, ты, хрупкое и нежное создание! Да разве могла бы ты быть иной? Этот ангельский голос, этот нежный голос был бы противоестественным, если бы исходил из другого, не твоего, тела.

— Я не могу подать вам никакой надежды, — сказала она. — Перестаньте так говорить со мной или вы станете предметом насмешек. Я не имею возможности запретить вам бывать в театре, но если вы любите меня или если вы благоразумны, вы больше не появитесь там. Послушайте, синьор, — заговорила она вдруг очень серьезно.

— Замолчи! — воскликнул совершенно опьяненный скульптор. — Препятствия только разжигают в моем сердце любовь!

Замбинелла замерла в скромной и изящной позе. Она молчала, будто задумавшись о каком-то грозящем ей несчастье. Когда наступило время возвращения в город, она уселась в четырехместную карету, жестоко и повелительно приказав скульптору ехать одному в коляске. По дороге Сарразин твердо решил похитить Замбинеллу. Весь день он был занят тем, что придумывал планы похищения, один безумнее другого. Поздно вечером, собираясь выйти, чтобы справиться о том, где находится дворец, в котором живет Замбинелла, он у самых своих дверей столкнулся с одним из своих товарищей.

— Друг мой, — сказал этот последний, — наш посол поручил мне пригласить тебя быть у него сегодня вечером. Он устраивает великолепный концерт, и когда ты узнаешь, что там будет Замбинелла...

— Замбинелла! — воскликнул Сарразин, при одном этом имени теряя всякое самообладание. — Я с ума схожу по ней!

— С тобой происходит то же, что и со всеми другими, — ответил его приятель.

— Я надеюсь, — проговорил с волнением Сарразин, — что ты, Виен, Лаутербург и Аллегрен не откажетесь после бала помочь мне в одном деле.

— Нам не придется участвовать в убийстве кардинала или?..

— Нет, нет, — успокоил его Сарразин. — Я не попрошу вас ни о чем, чего не могли бы сделать порядочные люди.

В самый короткий срок скульптор приготовил все необходимое для выполнения задуманного им плана. Он одним из последних явился на вечер в посольство, но зато приехал в дорожной карете, запряженной выносливыми лошадьми, которыми правил один из самых отчаянных римских *vetturini[[5]](#footnote-5)*. Дворец посольства был полон народа. Не без труда удалось скульптору, которого никто здесь не знал, пробраться в зал, где пела Замбинелла.

— Должно быть, из уважения к присутствующим здесь кардиналам, епископам и аббатам, — спросил Сарразин, — *она* носит сегодня мужской костюм и шпагу, а волосы ее курчавятся и заплетены сзади в косичку?

— Она! Кто это — она? — с удивлением переспросил старик, к которому обратился Сарразин.

— Замбинелла!

— Замбинелла! — воскликнул старый римский аристократ. — Вы шутите? С неба вы свалились, что ли? Да разве когда-нибудь женщина ступала на подмостки римского театра? Неужели вы не знаете, какими существами исполняются женские роли во владениях римского папы? Это я, милостивый государь, одарил Замбинеллу таким голосом! Я по всем счетам платил за этого плута. Даже и учителю пения платил я. И вот, представьте себе, он оказался таким неблагодарным, что даже ни разу не согласился переступить порог моего дома. А между тем, если он наживет состояние, то этим он будет всецело обязан мне. — Князь Киджи мог бы говорить еще долго, Сарразин не слушал его. Страшная истина вонзилась ему в душу, поразив его точно громом.

Он замер в неподвижности, устремив взгляд на мнимого певца. Его пылающий взор, казалось, имел на Замбинеллу магнетическое действие: *il musico* невольно обратил свой взгляд на Сарразина, и его небесный голос слегка дрогнул. Трепет охватил его тело. Шепот, пробежавший по рядам публики, словно прикованной к его устам, окончательно смутил его. Оборвав пение, он опустился на стул. Кардинал Чиконьяра, искоса следивший за направлением взгляда своего любимца, заметил француза и, склонившись к уху одного из своих адъютантов в рясе, осведомился об имени скульптора. Получив нужные сведения, он внимательно оглядел художника и приказал что-то сопровождавшему его аббату, после чего последний поспешно удалился. Тем временем Замбинелла, несколько оправившись, снова запел столь своенравно прерванную им арию. Но исполнил он ее неважно и, несмотря на все просьбы, решительно отказался спеть что-либо другое. Этот отказ был первым проявлением своенравной тирании, способствовавшей впоследствии его славе не меньше, чем талант и огромное состояние, которым, как говорили, он был обязан своей красоте еще больше, чем голосу.

— Это — женщина! — проговорил Сарразин, думая, что его никто не слышит. — Здесь кроется какая-нибудь тайная интрига. Кардинал Чиконьяра обманывает папу и Рим!

Покинув зал, скульптор собрал своих друзей и спрятал их во дворе дома. Замбинелла между тем, убедившись, что Сарразин удалился, казалось, несколько успокоился. Около полуночи, пройдясь по залам дворца как человек, отыскивающий врага, кастрат в свою очередь покинул собрание. В момент, когда он переступал порог дворца, он был ловко схвачен какими-то людьми, которые, заткнув ему рот платком, усадили его в карету, нанятую Сарразином. 3астыв от ужаса и не смея пошевельнуться, Замбинелла забился в угол экипажа. Он видел перед собой лицо скульптора, хранившего гробовое молчание. Они ехали недолго. Похищенный Сарразином Замбинелла вскоре очутился в мрачной и почти пустой мастерской художника. Полумертвый от страха, сидел он на стуле, не смея взглянуть на стоявшую перед ним статую женщины, в которой он узнавал свои собственные черты. Он не произносил ни слова, но зубы его стучали от страха. Сарразин ходил по комнате большими шагами. Внезапно он остановился перед Замбинеллой.

— Скажи мне правду, — произнес он глухим и сдавленным голосом. — Ты женщина? Кардинал Чиконьяра...

Замбинелла, упав на колени, вместо ответа опустил голову.

— Ах, конечно, ты женщина, — воскликнул художник в неистовстве. — Потому что даже и...

Он не кончил.

— Нет! — заговорил он снова. — Нет! Он не был бы способен на такую низость.

— Ах, не убивайте меня! — воскликнул, рыдая, Замбинелла. Я согласился обмануть вас только для того, чтобы угодить товарищам, которым хотелось пошутить.

— Пошутить! — произнес скульптор голосом, в котором звучало бешенство. — Пошутить? Ты осмелился смеяться над страстью мужчины? Ты?

— О, сжальтесь! — взмолился Замбинелла.

— Я должен был бы убить тебя, — закричал Сарразин, в гневе выхватывая шпагу. — Но, — продолжал он с выражением холодного презрения, — даже если я вонжу этот клинок тебе в сердце, разве найду я в нем какое-нибудь чувство, достойное уничтожения, что-нибудь способное утолить мою жажду мщения? Ты — ничто! Будь ты мужчиной или женщиной, я бы убил тебя, но...

Сарразин сделал жест отвращения, вынудивший его повернуть голову, и тогда он взглянул на статую.

— И это — иллюзия! — воскликнул он.

Обернувшись к Замбинелле, он снова заговорил:

— Сердце женщины могло стать для меня приютом, родиной. Есть ли у тебя сестры, похожие на тебя? Нет? Тогда умри! Но нет, ты будешь жить! Оставить тебе жизнь — не значит ли обречь тебя на нечто худшее, чем смерть? Мне не жаль ни крови моей, ни жизни, но мне жаль моего будущего и погибшей радости моего сердца. Твоя слабая рука разбила мое счастье. Какие надежды я могу отнять у тебя за все те, которые ты убил во мне? Ты унизил меня до себя. Любить, быть любимым — отныне это для меня такие же пустые слова, как и для тебя. Всегда при взгляде на настоящую женщину я буду вспоминать вот эту, воображаемую!..

Он с жестом отчаяния указал на статую.

— Вечно в моей памяти будет жить небесная гарпия, которая будет вонзать свои острые когти в мои чувства и накладывать клеймо несовершенства на всех женщин! Чудовище! Ты, не способный дать жизни ничему, ты превратил для меня мир в пустыню. Ты уничтожил для меня всех женщин...

Сарразин опустился на стул против дрожавшего от ужаса певца. Две крупные слезы выступили из его сухих глаз и, скатившись по мужским щекам, упали на пол. Это были слезы ярости, едкие и жгучие.

— Нет больше любви! Я умер для счастья; для всех человеческих чувств! С этими словами он схватил молоток и с такой дикой силой швырнул его в статую, что промахнулся. Но Сарразину показалось, что он уничтожил этот памятник своего безумия, и, выхватив шпагу, он занес ее над певцом, чтобы убить его. Замбинелла пронзительно закричал. В то же мгновение в комнату ворвались трое мужчин, и почти тотчас же Сарразин упал, пронзенный тремя ударами кинжалов.

— От имени кардинала Чиконьяра, — произнес один из убийц.

— Благодеяние, достойное христианина, — прошептал француз, испуская последнее дыхание.

Эти мрачные исполнители чужой воли рассказали Замбинелле о беспокойстве, терзавшем его покровителя, который в закрытом экипаже ожидает его у подъезда, спеша увезти своего любимца, как только он будет освобожден.

— Но я все же не понимаю, — проговорила госпожа де Рошфид, — какое отношение вся эта история имеет к старичку, которого мы вчера видели у госпожи де Ланти?

— Сударыня! Кардинал Чиконьяра приобрел статую Замбинеллы и приказал высечь ее из мрамора. Она хранится ныне в музее Альбани. Здесь в 1791 году она была найдена семьей де Ланти, которые предложили Виену написать с нее картину. Портрет, на котором вы увидели Замбинеллу двадцатилетним через несколько минут после того, как вы видели его столетним старцем, послужил впоследствии моделью при создании «Эндимиона» Жироде, и вы могли узнать его черты в Адонисе.

— Но... этот... или эта... Замбинелла?..

— Это не кто иной, как двоюродный дед Марианины, брат ее деда. Теперь вы понимаете, почему госпожа де Ланти так тщательно скрывает происхождение богатства, начало которому положено...

— Довольно, — прервала она меня, сделав повелительный жест. В течение нескольких минут мы хранили глубочайшее молчание.

— Ну, что же? — спросил я.

— Ах, воскликнула она, вскочив с места и прохаживаясь по комнате крупными шагами. Подойдя ко мне вплотную, она продолжала изменившимся голосом: — Вы надолго внушили мне отвращение к жизни и к страсти. Даже если речь и не идет о чудовищах, разве не все человеческие чувства ведут в итоге к жестокому разочарованию? Нас, матерей, дети убивают своим дурным поведением или своей холодностью. Нас, жен, обманывают и предают. Любовниц — покидают и забывают... Дружба? Да разве она существует? Я завтра же обратилась бы к Богу, если б не была уверена, что смогу устоять твердо, как скала, среди всех житейских бурь. Если будущее, каким его мыслит себе христианин, — тоже иллюзия, то по крайней мере хоть такая, которая рушится только после смерти. Оставьте меня одну.

— Да, — проговорил я. — Вы умеете карать!

— А разве я не права?

— Да, неправы, — ответил я, набравшись смелости. — Досказав вам до конца эту историю, пользующуюся довольно широкой известностью в Италии, я могу внушить вам уважение к успехам современной цивилизации. Теперь уже больше не делают таких несчастных созданий.

— Париж, — сказала она, — очень гостеприимен. Он принимает все — и богатства позорные, и богатства, испачканные кровью. В нем получают право убежища и преступления, и подлость; одна только добродетель не имеет здесь алтарей. Да, приют чистых душ — небеса! Никто меня никогда не поймет! Я горжусь этим...

И маркиза задумалась...

*Париж, ноябрь 1830 года.*

1. Прощайте, прощайте *(итал.)* . [↑](#footnote-ref-1)
2. Бедняга *(итал.)* . [↑](#footnote-ref-2)
3. Прекрасные дамы и господа *(итал.)* . [↑](#footnote-ref-3)
4. Младенец Христос *(итал.)* . [↑](#footnote-ref-4)
5. Извозчики, кучера *(итал.)* . [↑](#footnote-ref-5)